

ПО
КОДЕЛЬ



Избранные стихотворения

Серия "Licentia Poetica"

РОМЬ
КОДЕМЬ



Избранные стихотворения

Ассоциация «Новая литература».
МП «Итларь» (изд-во "Carte Blanche").
СПб — Москва, 1992.

ISBN 5-86661-002-7
НЗ4(03)

Эта книга — первое на русском языке собрание стихотворений Поля Клоделя (1868—1955), одного из самых известных французских католических поэтов нашего столетия, признанного классика новейшей европейской литературы. В качестве послесловия печатается лекция Клоделя «Религия и поэзия», в которой писатель объясняет свои творческие принципы.

© О. Седакова, М. Гринберг. Переводы, составление, 1992

© Ю. Ярин. Оформление. 1992

Технический редактор Т. Селиверстова.

Сдано в набор 15.04.92. Подписано в печать 20.05.92.

Формат 60×84/32. Печать высокая.

Тираж 5000. Заказ 101. ТМК РФ

ОСАДА

Я осаждаю Тебя, Бог Обетования, Бог Авраама и Сима,
Как Иезекииль осаждал черепицу с начертанием
Иерусалима*.

Я выкопал ров, я построил вал укрепленный
От северных ворот до башни Давида, я стою
против Офела и против Сиона.

Ты заперт, и все Твои Ангелы и Святые
заперты с Тобой.

У Тебя вдоволь вина и масла, твои житницы
полны хлебом, твои водоемы полны водой.

Я сторожу все выходы, я квадриге Твоей телом
путь преграждаю.

Я сплю, а сердце мое на страже. Я Иерусалим
осаждаю.

Никто из Твоих Святых и Твоих Трех Лиц
выйти не может.

Ты сказал, что дела Твои хороши;
я Твое творение, Боже.

Моя скорбь ограду неодолимую вокруг Тебя возвела.

Моя любовь вром непреходимым у ног Твоих легла.

Не копьё и не мечу Божия твердыня сдается,

Но воплю сокрушенного сердца —

ибо Царство Небесное силой берется.

1905

* Иез. 4, 1—3 (Здесь и ниже звездочками отмечены примечания переводчиков).

БАЛЛАДА

Мы уже уезжали множество раз, но этот раз —
последний.

Прощайте, кому мы дороги! поезд не ждет,
простимся на ходу.

Эту сцену мы повторяли множество раз, но этот раз —
последний.

Вы думали: все-таки мне не уйти? Смотрите же: иду.
Мать, прощай! Что ты плачешь, как тот,
у кого еще есть надежда или сомненье?

То, что не может быть иначе, слезы не стоит,
не стоит слезы из наших глаз.

Или вы забыли, что я — тень и уйду, как тень,
и что сами вы — тени и виденья?

Мы никогда не увидим вас.

И мы покидаем женщин: и верных жен, и подруг,
и нареченных.

Кончено с женским и ребячьим лепетом: мы одиноки
и легки, как перед концом.

Но еще в последний миг, но в этот час,
торжественный и помраченный,

Позволь поглядеть на лицо твое, пока я не стал
посторонним и мертвецом,

Пока я не исчез. Позволь поглядеть на лицо твое!
а после обрати его к другому.

Но скажи хотя бы, что не разлюбишь младенца,
который родится у нас,

Нашего сына, плоть и душу мою, он имя отца
передает другому.
Мы никогда не увидим вас.

Друзья, прощайте! Слишком издалека мы явились,
чтоб вам внушить доверье:
Разве страх да любопытство. Но земля, не покинутая
ни разу, вот что называют надежным и своим.
Пусть остается при нас то, что мы узнали как дар,
как источник внезапного веселья, —
Человеческую тщету и смерть в том, кто почитает
себя живым.
Ты остаешься при нас, твердое знанье, наважденье
съедающее и пустое.

«Искусство, наука, вольная жизнь...»

О братья, что вам в нас?

Дадите ли вы уйти, если не можете дать покоя?

Мы никогда не увидим вас.

П о с ы л к а

Вы остаетесь, и мы на борту, и трап уже убрали.
Ничего кроме дыма в небесах. Не ждите,
что мы снова будем у вас.
Ничего кроме вечного Божьего солнца да воды,
сотворенной Им, и она, как в начале.
Мы никогда не увидим вас.

1906

НЕВМЕНЯЕМЫЙ (Верлен)

Это был матрос, оставленный на берегу, с которым
жандармерии пришлось повозиться.
С двумя су на табак, со справкой из бельгийской тюрьмы
и сопроводительным листом до французской столицы.
Моряк без морей, бродяга, с пути сбившийся,
как корабль, потерявший фарватер.
Местожительство — неизвестно, род занятий —
прочерк... «Верлен Поль, литератор».
Бедняга сочинял стихи, которые у Анатоля Франса
вызывали смех:
— Тот, кто пишет по-французски, сударь,
должен быть понятен для всех.
Впрочем, со скрюченной своей ногой был он забавен
и пригодился в одной новелле.
Ему платили кой-какой гонорар и студенты
перед ним благоговели.
Но все эти штуки, что он писал, их невозможно
читать без раздраженья.
В них иногда по тринадцать стоп и совершенно
никакого значенья.
Нет, не для таких премия Аршон-Деперуза и кивок
господина де Монтиона с олимпийских облаков.
Это смехотворный дилетант среди профессионалов
и знатоков.

Лучше сдохнуть, как собака, чем быть, как все кругом.
Итак, прославим единодушно Верлена, тем более,
он умер, говорят,
А этого единственно ему не хватало. Но главное,
чему я рад,
Мы все понимаем его стихи, все, особенно если
девицы поют под рояль, ведь наши
Лучшие композиторы заключили их в серафические
пассажи!
Старик ушел. Он вернулся туда, откуда его прогнали,
На корабль, который все это время ждал его
в черном порту, да мы не видали
Ничего: только взрыв огромного паруса да могучий
шум форштевня, рассекающего пену океана.
Только голос — то ли женщины, то ли ребенка,
то ли Ангела — «Верлен!» — позвал его из тумана.

1910

ПЕСНЯ В ДЕНЬ СВЯТОГО ЛЮДОВИКА

Ячейки сети распустились, и сеть исчезла, как сон.
Сети, в которой меня держали, нет. Я освобожден.

Моя тюрьма — единый Бог и высокий цвет земли.
Есть жатва вечно та же и той же пустыни ковыли.

Никакая дорога сюда не везет, нет карты этих краев.
Только труд на том же месте, под ливнем, в грязи,
в преодоленье дней и часов.

Никакая дорога сюда не ведет, только август веры
и неба круговращенье.
И мы не переменили мест, а нас окружило свеченье.

Благословенны все оковы, все путы, какие были на мне.
Нужно покрепче связать человека, чтобы доставить
к тюрьме.

Моя тюрьма — величайший свет и величайший жар.
Виденье августовской земли, все прочее
упраздняющий дар.

О чем же мне в минувшем жалеть и чего в грядущем
желать,
Если то, что окружает меня, — нестерпимая благодать?

И что мне рассуждать о себе, беден я или богат,
Если Бог вокруг меня, и это важнее тысячу крат.

Нивы из золота, а вдали, из-за жнив, из-за полей,
Неизъяснимый розовый свет и сама земля людей!

Сама земля принимает вдруг бессмертия странный цвет,
Цвет Бога с нами, и племена сошлись на затепленный свет.

Неизъяснимый розовый цвет и тысячи тысяч живых!
Море золота и огня у наших шатров полевых.

Это день святого Луи, Исповедника и Французского
Короля.

Его плащ я держу в моих пальцах, шитый
грубым колосом, золотой, как нынче земля.

И я вижу, куда ни обернись: сено гребут,
 молотят снопы, ставят стога
И волнуются несжатых овсов глубокие облака.

Плащ из золота, кайма его — бархат, синий дочерна,
Как лес двойной вокруг Санлиса в теперешние вечера.

Какая может быть печаль, если каждый год август
 неизбежен, как рок?

Печаль мгновенна, печаль пройдет, но радость —
 первый замысел и последний итог.

Свет овладевает всем и гонит ночь долой.
Стаи перепелов из-под ног моих вспархивают
над светлой землей.

Я гляжу и вижу глазами моими то, в чем обмана нет.
Я свободен, и вокруг меня тюрьма моя — свет.

Земля смеется и знает, смеется и прячется в хлебе
и сиянье.
Чтобы нашу тайну сохранить — не хватит
никакого молчанья.

1913

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ

Вот и зима наконец, и святой Николай по еловым лесам
Спешит с двумя мешками даров к лотарингским
малышам.

Вот и кончилась эта осень гнилая, вот и снег,
слава Богу.

Кончились осень, лето и всякое время года.
(О, все, что еще не кончилось, и этот черный
мокрый путь

Мимо драных берез, в туман, за дуб — куда-нибудь!)
Все бело, все одинаково, все чисто, чисто.

Небеса земле подарили плащ слоистый.

Всему конец: ни зла, ни добра. Все будет новым.
Это черта.

Внизу совершенно ничего и вверху темнота.

Но белый, белый мир только для Ангелов — дом родной.
А во всем приходе ты не встретишь души живой.

Никто не проснется, ни один малыш не вздыхает,
сам не свой,

Когда ты к нему в эту ночь спешешь, мирликийский
могучий святой!

О ночной епископ в рукавицах! надежда всех,
кто вовремя лег,

Кто целый день уже умница и два часа как знает урок.
Святой Николай, кому Бог даровал что угодно

переменить,

Кто умеет этот мир, где не очень весело жить,
Подбросив звезд и бубенцов, помпонов и мишуры,
Преобразить в рукодельный рай, в огромный зал
для игры.
Ты разреши, мы, зажмурясь крепко, три раза стукнем
в твой ларек:
Святой Николай, ты принес все, что будет,
ты Творенье сложил в мешок!
Пусть другим достаются солдатики, куклы,
поезд заводной!
А мне ты дай один коробок, закрытый, непростой.
Я проделаю дырочку и погляжу — крохотное, живое:
Золотого Тельца, наказание евреев, а раньше —
Потоп и Ноя,
Все, что внутри. И пускай там солнце по небу ходит
И два мужчины из-за дамы в черном
на поединок выходят,
И в доме, который будет моим, где лампы, дети,
кресла, фонари,
Я сквозь каминную трубу погляжу на все, что внутри.

1913

СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ

Праздник святой Сесиль справляют у нас в ноябре.
И когда разложат плоды в домах и приберут во дворе,
Тут мы и увидим, как возами везут и сгружают
у врат базилики

Контрабасы, цимбалы, тромбоны, пюпитры —
все сосуды музыки.

Это поддержка могучему хору в четыреста голосов.
Спелый голос земли, мудрый голос людей —
с приношением звука в этот день мы идем
под Божий кров.

Но ранней весной гонений, первая из певчих птах,
Цецилия, не дожидаясь цветенья, запела
в сверкающих ветвях!

У нее три ноты, вот и все — слушайте, зиме конец!
Лютый языческой зиме, смерти и скорби и скверне
сердец!

Девушка, не сотворившая зла, ребенок,
который весело твердит все, что знает...

Палач! напрасно секира твоя трижды над ней взлетает!
Тьфу, ненавистник счастья! человеческой рукой
Не оборвешь в этом нежном горле трепетанье
гаммы святой!

Каждый раз, как ты, трудясь, рубишь во весь замах,

Мелодии срубленная голова
во всей красе поднимается
с улыбкой на губах!
Так, когда кончит богослов и все аргументы сведет,
Когда больше не хочет она говорить — слушайте,
Церковь поет!
Платье Цецилии ало, и с каждым ударом
хлещет кровь сильней!
Слышите, выше с каждым ударом этот голос,
победитель всех смертей!
Наконец, покидая ребенка, который больше ее
не удержит и не стерпит мир,
Ликующая Аллилуйя летит в свой безумный сапфир!

1914

БАЛЛАДА

Негоцианты Тира и сегодняшние коммерсанты,
отправляющиеся по воде на диковинных
механических созданиях,
Те, кого далеко провожает платок прощальный чайки,
а кто им машет — не узнать,
Те, кому виноградника их и поля мало,
но что-то понадобилось в Новом Орлеане,
Те, кто ушел и не вернется назад,
Все глотатели расстояний, море в их руках —
вы думаете, этим можно досыта насладиться?
Кто губы единожды обмакнул, не отойдет от чаши,
пока своего не допьет.
Долог, долог будет путь, и все-таки можно решиться.

Только первый глоток горло дерет.

Экипажи торпедированных судов, чьи названия
занесены в статистические таблицы,
Гарнизоны эсминцев, внезапно нашедшие путь
ко всем берегам,
Эскортеры чахоточных траулеров, команды подлодок,
которые угораздило заблудиться,
И все, что без разбора сгружает корабль,
обернувшись килем к небесам,
Вот он, их долг — в размер кругового горизонта.
Это море к ним идет навстречу: кто-то снова
должен выйти, кто-нибудь дорогу найдет.

Стоит подставить рот, а дальше уже не наша забота:

Только первый глоток горло дерет.

Что же они говорили, пассажиры океанских гигантов
В ту ночь, накануне дня, когда радист отбил:

«Идем ко дну!»

Покуда в трюмах третьего класса самодельной
музыкой тешились эмигранты,

А море отступало и подступало к каждому окну?

— То, что однажды брошено,
зачем ему наше сожаленье?

Зачем желать, чтобы жизнь вернулась,
если все прошло и все пройдет?

Да, любимых снова увидеть неплохо,
но ничто не лучше забвенья.

Только первый глоток горло дерет.

П о с ы л к а

Ничего кроме моря со всех сторон, кроме того,
что бросает и возносит!

Довольно этого жала в сердце, довольно жизни,
которая в час по капле течет!

Ничего кроме моря! море и мы в нем,
и никто другого не попросит!

Только первый глоток горло дерет.

1917

СВЯТОЙ ИОСИФ

Когда убраны на места инструменты
и кончен труд дневной,
Когда Израиль от Кармила до Иордана засыпает,
укрытый пшеницей и тьмой, —
Словно в отрочестве, когда смеркалось и читать
он больше не мог, —
Глубоко вздохнув, Иосиф обращается к Богу, и ему
отвечает Бог.
Он избрал Премудрость: это она вошла в его дом
невестой.
Он молчалив как земля, влажная от росы небесной.
Вокруг него — преизбыток и ночь, с ним радость,
и правда с ним.
Он обладает Марией, он ее ограждает, спокоен
и неколебим.
Прежде чем понял он, что больше не одинок,
много дней миновало.

Жена покорила сердце его, и отцовское чувство
привычным стало.
Снова он в раю, снова с Евою он!
Этот лик, желанный для всех, с почетом и любовью
к Иосифу обращен.
Нет прежней молитвы и древнего упования нет в нем
с тех пор,

Как нашел он в этом глубоком и невинном существе
лучшую из опор;
Нет нагой Веры, окруженной тьмой:
ясная и действенная любовь сменила ее наконец.

С Иосифом ныне Мария, и с Марией Отец.
И для нас — чтобы торжествовал Бог,
чьи дела превышают наш ум,
Чтобы свету Его не мешал наш светильник,
и слову Его — наш шум,
Чтобы кончился человек, и пришло Царство Твое,
и свершилась Воля Твоя,
Чтобы вновь нам вкусить от сладчайшего
источника бытия,
Чтобы море смирилось и чтобы Мария началась,
как говорит обетованье,
Та, кто имеет лучшую часть и упраздняет
ветхого Израиля противостоянье, —
Внутренний патриарх, Иосиф, испроси для нас
молчанье!

1921

ПРЕДИСЛОВИЕ

Внизу лежит равнина, как некогда в Китае
во время моего летнего путешествия по Цзюлуну.
Страну, которую я пересек, расстояние сделало
плоской картой, уравнив холмы, леса и лагуну.
Я ничего не видел, пока был внутри этой карты,
пока шел, проливая пот.
Сколько верст и сколько лет позади — а теперь можно
ладонью закрыть весь путь, который сюда ведет!
Под скользящим солнечным лучом оживают
и вспыхивают в тумане
То река, чье название забыто, то город,
подобный старой, еще ноющей ране, —
А вон дымок отпливающего пакетбота... Блеск моря,
ни с чем не сравнимый, невероятный...
О смиренно принятое изгнание, из которого
мы выйдем только идя вперед, но не обратно!
Начинает темнеть. Путник, в незнакомом месте
следует хорошо осмотреться.
Как эта тишина, поражающая других, привычна
для твоего сердца!
Высятся непомерно чуткие горы, одна над другой
громоздясь.
Нужно много пространства, чтобы жизнь началась,
Чтобы остановилось дыхание шири и были собраны
воды в этом круге разорванном и бесконечном!

Я внимаю их шуму и вздохам деревень,
засыпанных сахаром и рисом млечным.
Я знаю, что там, внизу, мой дом, и знаю, что мной он
навсегда оставлен.
(Читая псалмы, я слышу, как на веранде ветер
шатает ставни).
И я понимаю: все, что позади, кончено,
туда не вернуться мне.
Душа моя! С глубоким трепетом предайся
этой совершенно неведомой стране.
Надо ли и дальше медлить на пороге, надо ли терять
время в приготовлениях, которым не будет конца?
Иди, если и вправду чувствуешь сладость в имени Отца.

1921

СТИХИ НА ОБОРОТЕ «СВЯТОЙ ЖЕНЕВЬЕВЫ»

(Внутренняя стена в Токио)

I

Не в лесу и не на берегу — вдоль городской стены
каждый день я гуляю,
Стена тянется справа.
Вдоль стены я иду, у меня за спиной разворачивается
она, и впереди ей не видно конца и краю.
Всегда, неизменно — стена справа.
Слева — широкие городские улицы разбегаются во все
стороны, и я скольжу по ним взглядом,
Но высится стена справа.
Вот у этой трамвайной остановки я поворачиваю —
и знаю, что море рядом,
Но не отпускает стена справа.
Теперь под моими ногами — весь город, весь
хрупкий мир, уже начинающий в закате тонуть,
Но неколебима стена справа,
Стена, влекущая меня лишь для того, чтобы
на прежнее место вернуть —
И мне, закрыв глаза, достаточно руку протянуть,
Чтобы ощутить ее присутствие справа.

II

Если смотреть на просвет книжную страницу,
иногда сквозь текст
Проступает нарисованный на обороте пейзаж,
изображение незнакомых мест.

Так в Бразилии, когда путь Женевьева устилали
исписанные мной листы
(А между тем бомбили мою деревню
и рушились на Марне мосты),
Уже с той стороны бумаги,
под странным переплетением слов,
Из молочной дымки вставал пейзаж,
который был совершенно нов.

III

Судьба не дает мне передышки, бросает из края в край:
Бразилию сменила Япония — как хочешь, так и привыкай.
Есть жизни, окруженные постоянным ландшафтом,
не знающие перемен по многу лет,
Моя же чертит свой путь на листах,
между которыми связи нет.
Внезапно одну картинку убирают
и другую выставляют спеша —
И тайный переход между разрозненными мирами
совершает моя душа.

IV

Рыбак ловит рыб переметом, погруженным в морскую
глубину.
Охотник ловит птичек сетью, скрытой среди ветвей.

А мне — говорит садовник, — чтобы ловить луну и звезды, нужно лишь немного воды; чтобы ловить вишни в цвету и пламенеющие клены, мне нужно расстелить вот эту водяную ленту, и только.

Мне же — говорит поэт, — чтобы улавливать образы и значения, нужна вот эта белая бумага для привады: боги непременно оставят на ней свой след, как птицы на снегу.

Чтобы вошла сюда Морская Царица, нужно лишь расстелить этот бумажный ковер; чтобы Небесный Государь спустился, нужен лишь этот лунный луч и эта лестница белой бумаги.

V

Я хочу написать стихотворение, зовущее дух сразу
на три пути.

Первый путь над нами — там, шествуя поверх истории, святые претворяют все, что мы делаем внизу, в одно торжественное приношение.

Второй — это само стихотворение, поток слов, подобный широкому проспекту, заполненному людьми, которые движутся в одном направлении, но каждый сам по себе.

Третий, на обороте бумаги, — это могучая река,
недоступная взору, —

Чтобы ее увидеть, нужен пучок камышинок, внезапно разрезавший струю, нужна дикая утка, дробящая лунный свет,

Или того меньше: искра и ее отражение, единственная
огненная блеска, являющая глазам широчайшее
невидимое течение.

VI

Мой дворец — говорит Государь, — я обнес кольцом
небес, и мне кажется, что с землею я уже ничем
не связан.

Наступило время сна, и мне кажется, что все под моими
ногами зыблется, как стонающий понтон в бурном
море полуночи.

Пусть поторапливаются еще не покинувшие меня гости
(я вижу снизу фонарики двух или трех небольших
карет, которые быстро катят по гравию
опустелого двора).

Мы поднимаем последний мост.

VII

В воде старинного рва отраженья перемешались как
попало: далекое уравнилось с близким.

Между листьев кувшинки я вижу свечку продавца
лапши в соседстве с крупной звездой.

Вот челнок Небесной Ткачихи, а рядом — приобщенное
к вечности сито пирожника; у Ткачихи под рукой
и тот предмет, и этот.

Так и в стихотворении, которого я не написал, исчезли
различия времени и места, все вещи там
объединила тайная близость.
Чуть дрогнет лист — и заблестит звезда.
Все перестало умирать.

VIII

Читатель, задержи дыхание, чтобы не осквернить и не
разрушить волшебную гладь.
Подул морской ветер: еще мгновение, и лежащий перед
тобой лист вскипит неисчислимыми письменами.

IX

Одно касание ногтя — и колокол Нары начинает гудеть.
Круглое слово, расцветающее без стебля посреди
чистого бумажного листа, одинокий знак,
не дочерченный пальцем на песке, —
И душа волнуется всей своей неисследимой глубиной.
Одинокий ивовый листок на стекле пруда — и все небо
со всеми звездами, и землю, и Дворец Государей,
и город, который покинула жизнь.
Всю эту ткань сна пронизывает дрожь и трепет.
Даже луну на Седьмом Ярусе Небес тревожит
непонятная рябь.

Х

Мысль и ее след.

Ветвь и ее отражение — отражение именно этой ветви
и ее листьев, а не остальной листвы.

То гнет эту покорную ветвь не помнящий себя ветер,
вновь и вновь рисуя тот же знак и медленно
изучая ответ воды.

То ветвь пребывает недвижимой, а вода лениво
колышется и дробит отражение.

И это — ответ неведомому содроганию глубины.

ХІ

Я смотрю под ноги, чтобы видеть солнце.

И едва я опустил глаза, как неясное марево стало
отчетливой картиной в рамке и само движение
поглотилось покоем недвижимой воды.

К иероглифу, означающему *вода*, была прибавлена
красная точка, навеки сковавшая воду.

Как художник концом кисти касается листа
где пришлось

И задумывается, еще не зная, чем эту точку сделать —
женщиной, сосной, морем,

Так мой взгляд не может оторваться от этого красного
пятна, покрывшего три четверти пруда.

То не солнце уходящего дня, но подводный свидетель,
око, вобравшее множество зрелищ

И ждавшее только меня, чтобы угаснуть, — как гаснут
угли в хибачи*.

* Жаровня

XII

Я помещен вне кольца.

Я понял: стена, которая лишает меня свободы,
не снаружи, а внутри.

Я понял: из одного места в другое можно перейти
любым путем, но не через центр.

1922

ОТВЕТ МУДРОГО ЦИНЬ ЮАНЯ

Премудрый Цинь Юань на склоне лет,
Когда чародей предложил свести
его годы к цифре два, сказал в ответ:
— Я знаю все о Весне, я знаю,
как Лето продолжительно до изнеможенья.
То, что мне теперь подобает понять,
именуется Осенью, вне сомненья.
Не должен ли я подтвердить, что созревает все,
что скрыто и все, что на виду?
Что не преминул приобрести свою форму, цвет и вес
каждый плод в моем саду?
Лицо мое, как рукопись на шелку,
глядит на меня из зеркал,
И нет часа, чтобы усердный писец
новый знак в нее не вписал.
Как же мне не покориться столь искусной
и властной руке?
Я не оставлю этого чтенья на самой важной строке.
Почему мы полагаем концом то,
что в действительности — возникновенье?
С надеждой и наслажденьем я предаюсь
леденящему дуновенью.

1930

ПРЕДИСЛОВИЕ К «АТЛАСНОМУ БАШМАЧКУ»

Все, конечно, встречали в музеях картины
 фламандской школы. На них
 Можно увидеть казнь епископа под крыльями
 мельниц ветряных,
 Или великие события из обоих Заветов и жизни святых.
 А в глубине дровосек с вязанкой и мужичок на пашне.
 Соколиная охота, дерево, парусник, башня.
 Ангел в небе играет на виоле, у другого чаша
 и опущенное крыло.
 И множество презабавных сцен, которые видно
 только в увеличительное стекло.
 Спроси у любого на полотне: что у вас творится? —
 вряд ли он ответит внятно.
 Но ребенку с первого взгляда все совершенно понятно:
 Этого доброго дядю мучат, а тот выходит пахать.
 Правильно, что все они вместе, не нужно объяснять.
 «Если есть тут связь, лови ее! — говорит живописец, —
 она из каждой точки скачет блохой».
 И автор, выпустив это быстрое зернышко черной соли,
 улыбается и клянется, что хитрости тут нет никакой.

1930

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Когда поднимается ветер, все мельницы
крутятся как одна.
Но есть другой ветер: Дух, который гонит
перед собой народы и племена
И который после длительного затишья встает
и треплет человеческий пейзаж до окоема!
Мысль во всех концах земли вспыхивает, как солома!
От Темзы до Тибра слышно:
режут машины, оружие гремит.
И всю землю вдруг покрыли белые маки, и всю ночь
изрыли алгебраические знаки и греческий алфавит.
Вот Америка поднимается сверкая, Азия чует шевеленье
нового Бога в утробе своей
И влюбленный наконец находит слово — смотрите,
гордая женщина дрогнет, как стены крепостей!
Все это, скажете вы, не имеет связи, но тот, кто влез
на дерево, чтобы получше разглядеть,
Знает, что все это — те же всадники, поющие в небесах,
и той же трубы роковая медь!
То же самое «больше невозможно», тот же открытый
рот, та же грудь, которой нечем дышать!
Движенья различны, но ветер один и его не сдержать!
И поэтому я пишу мой холст,
на котором располагается все, что угодно.

Но странную точку жизни, которая все собрала
и свободно
Расположила — лови ее сам, дорогой читатель! —
она из каждого места скачет блохой.
И автор, выпустив это быстрое зернышко черной соли,
клянется, что хитрости тут нет никакой.
А что он сделал, позвольте спросить?
Да позабавился, как во время оно
Лопе де Вега и все великие драматурги Альбиона,
Среди прочих и тот, кто выпустил Генриха Шестого
и Гамлета из своего черепа-корнищона.

1930

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Я давно гляжу на небольшую звезду,
 мерцающую в черном проеме окна.
Я не сплю. Но разве ночь пред Воскресением
 Христовым создана для сна?

Слабый свет заливают горы и леса,
 они ожиданием поглощены.
Медленно поднимается благоговейный лик полной луны.

Средь вечности застыла полная луна,
 струящая ровный блеск.
О счастливая ночь! ты одна знаешь час,
 когда Христос воскрес!

Он все побеждает на своем пути: двери заперты,
 но он придет.
Точно так же проникает сквозь время он, не нарушив
 его мерный ход.

Мы узнаём об этом только тогда,
 когда все уже свершилось.
То, что Господь воскрес, для нас — неожиданная милость!

— До Меня молчание длилось слишком много веков,
 больше так не могло продолжаться.

Вновь земле был задан вопрос, и в этот раз
она не могла сдержаться.

Звезды толкуют между собой о виденном —
ни одна не молчит.
Земля разомкнула уста: все, что знает она,
теперь прозвучит.

Солнце еще не взошло. Это безмерное одиночество
будет длиться целый час.
Гроб охраняют лишь мириады ополченных звезд,
которые не смыкают глаз...

И вдруг, как бы сами собой, лунную ночь
пронзая насквозь,
На колокольне начинают греметь колокола, все разом,
вся громадная гроздь!

Нельзя разобрать ни слова, они захлебываются,
им мешает
Невыразимая любовь, и внезапно прихлынувшая
радость всякой стройности речь их лишает.

Нет, это не вялое бормотанье,
не будничн^{ый} наш язык, навязший в ушах, —
Это взывают к четырем сторонам света
колокола христианства, которые бьют во весь размах!

Два высоких голоса, один звонче другого,
без усталости говорят друг с другом,

И четыре низких откликаются тяжелым,
раскатистым гудом.

Исполнилась мера веков: перед нами лежит
лучезарная вечность и она видна целиком.
Настал час, когда все говорит своим истинным языком.

Это не похоже на человеческую речь, это триумф,
это на всех виноградниках неба
сбор несметного звездного урожая,
Это рвется к Богу освобожденная земля,
заходясь в припадках торжествующего лая,

Это полубоужившаяся душа восклицает громко,
иступленно,
Это полужившие мертвецы на всех погостах вливают
свои голоса в поток могучего звона,

И напитанный грехом мировой хаос,
который безысходен и пуст,
Внезапно ощутил на воспаленном лбу прикосновение
непостижимых уст!

— Вы, спящие, не страшитесь впредь,
ибо смерть воистину побеждена.
Я был мертв, но я воскрес в духе и во плоти,
и отступила она.

Закон хаоса преодолен, и Тартар посрамлен
властью небес.
 Слышите, всю землю сотрясает ураган колоколов?
Это знак, что я воскрес.

Жены, что вы ищете в гробу? Не найдете здесь ничего.
 Свитые ризы лежат в углу — Иисус жив, здесь нет Его!

Вырывается из гроба и моя душа, она смеется,
свободна и чиста,
 Я тоже победил тебя, смерть, и я верую
в моего спасителя Христа!

Смолкает благовест на колокольне монастыря,
все глуше, глуше он льется —
 Пора и другим окрестным церквям встречать
восходящее солнце.

Они оживают одна за одной, я слышу,
как они перекликаются в рассветной мгле.
 Каждый раз, когда гаснет в небе звезда,
просыпается овца на земле.

1934

ВНЕМЛЮЩАЯ БОГОМАТЕРЬ

В моей деревне Бранг есть замковая часовня: в ней
Я бываю каждый день в пять часов,
когда жара всего сильней.
Надоедает бродить — и тянет в дом Господень,
который приветлив и стар
И защищает от страшного солнца, палящего так,
что все вокруг гудит и едва не кричит: «Пожар!»
Там встречает меня Пресвятая Дева, дышащая
чистотой и прохладой, как горный ледник.
Длинное белое платье скрывает ее почти до пят,
и младенец к ее груди приник..
Мария! вновь пред тобой застыл изнуренный
страстями, грубый, угрюмый тупица —
О, никогда мне не хватит времени, чтобы все
тебе досказать, чтобы до конца открыться!
Но она с высоты спокойно и нежно глядит опять
На мои шевелящиеся губы — как человек,
который слушает и готов понять.

1934

ДВА ГРАДА

(по святому Августину)

Кантата в трех частях

I. Вавилон

Он пал, Вавилон великий!

Если не Бог созидает дом,
Если не Бог соблюдает град,
Всеу утруждались они, всеу трудились и
утруждались и трудясь утруждаются — те, кто
в трудах созидают его!

Он пал, Вавилон великий!

Я, Иоанн, слышал глас орла, из среды воздуха
кричащего:
Увы! увы! Люте! Люте! Горе! Горе!

Пал, пал Вавилон, Великая блудница!

Ибо Господь внезапно помянул ее и Он дал ей испить
чашу великую, исполненную вина, и пламя не
иссякнет в нем! Изыдите из нее, люди Мои!

Пал, пал...

Все, все да станут вдали ее, да скажут, трепеща
в страхе:

Горе! горе! Люте, люте! Увы! Увы!

...Вавилон, блудница Великая!

Погибла ты, пристань! погибли вы, житницы! погибла ты, мастерская! погибла ты, лавка торговца! некому более, некому покупать, что продает она.

Пал, пал Вавилон, блудница Великая!

Торгующие товарами золотыми и серебряными
и камнями драгоценными и порфирой
и благовонным древом и всяким металлом
и всякими изделиями!

Пал Вавилон, Великая блудница!

— И киннамоном и благовониями и ладаном и
фимиамом, вином и елеем и тонкой мукой,
и скотом и овцами и душами человеческими!
Пал Вавилон, блудница Великая!
Веселись над ней, небо!
Святые, испустите глас радости о ней, ибо Бог
совершил над ней ваш суд!

Погиб Вавилон Великий! разбит и разделен на части!
Пал, пал Вавилон, Великая блудница!

II. Элегия

Музыка тимпана и арфы, музыка арфы и других
орудий.

Звук рожка и свирели и голос, подпевающий
голосу. —

Вот, их уже не слышно будет!

И никакой художник и никакое художество не
найдут себе дела в стенах твоих.

Заглохнет голос мельницы! голос мельницы и других
ремесел не заслышится уже в стенах твоих!

Свет светильников не засветит уже над тобой.

И голос голоса с голосом, голос жениха и
невесты, голос с другим голосом внутри — не
услышат уже их!

И очарование твое, привлекавшее всю землю, конец ему!

Увы, город великий, облаченный в порфиру и
золото, украшенный жемчугом и алмазами,

Музыка арфы и других орудий.

Сладость флейты и свирели, и голоса с другим
голосом, —

Не услышат ее более!

Шум жерновов, глубокий шум мельницы, уже не
услышат тебя здесь никогда.

III. Иерусалим

И я, Иоанн, увидел Град святой, Новый Иерусалим,
который нисходил с небес от Бога, как невеста,
убранная для жениха своего!

И услышал я голос, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они, они
будут народом Его и Бог, Сам Бог с ними, Он
будет Богом их!

Иерусалим, возведенный как город, и гражданство
его — в нем самом!

Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже, и вопля болезни уже не будет и плача
не будет, ни болезни не будет к тому.

Яко первая мимоидоша!

— Ах, пусть язык мой прилипнет к гортани и отсохнет
рука моя, если в сердце моем забуду тебя,
Иерусалим!

— Пал, пал Вавилон Великий!

Вот, зима прошла, дождь миновал, перестал, цветы
показались на нашей земле и голос горлицы

слышен: смоковницы распустили почки свои: лоза
издает благовоние свое опьяняющее. Встань,
возлюбленная моя, выйди! Как лилия среди
терний, так возлюбленная моя среди девиц!
Я выглядывал за решетки, сквозь кладку камней
в стене, в углубления меж камней, явись, появись,
возлюбленная моя, дай услышать мне голос твой,
ибо он сладок!

(Глас горлицы слышан бысть)

Возлюбленный мой принадлежит мне, и я Ему, пока
день склоняется и дышит ветер. Но что за раны
здесь, на руках твоих?

Ах, пусть отсохнет десница моя...

Ночи уже не будет! И не будет тебе нужды в свете
свечей, ибо Бог, Господь Бог Сам
позаботится осветить тебя! Ворота Иерусалима
не будут запираются вовеки!

Ах, пусть отсохнет рука моя и язык мой да прилипнет
к гортели...

Кто жаждет, дам ему воды даром, обилие источника,
источенного источником воды живой!

И я видел реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца.

...если забуду тебя, Иерусалим! Ах, пусть
отсохнет десница моя и язык мой пусть прилипнет
к гортани, если в сердце моем забуду я тебя,
Иерусалим!

Возлюбленный мой принадлежит мне, и я Ему.

1937

Откр. 18, 2; Откр. 18, 5 (неточно); Откр. 18, 4;
Откр. 18, 9—11 (неточно); Откр. 18, 12; Откр. 18, 13;
Откр. 18, 20; Откр. 18, 22—23; Откр. 18, 16; Откр. 21, 2;
Откр. 21, 3; Откр. 21, 4; Откр. 21, 4 цсл., в оригинале —
латынь; Пс. 136; Песн. 2, 11—14; Песн. 2, 16—17; Откр.
21, 25; Откр. 21, 23; Откр. 21, 25; Откр. 21, 6; Откр. 22, 1.

СВЯТОЙ ИЕРОНИМ

покровитель словесного искусства

Господь Бог послал ему льва, чтобы он не скучал.
Лев золотым своим глазом следит,
как тот по-еврейски бормочет,
ищет латинское слово — вот оно! — и записал.
Как Ангелы тебя однажды поправили, нужно верить,
было ко благу. До слез, до стона,
Иероним, я благодарю их за то,
что они изгнали из тебя Цицерона!
И не потому что ты Пауле написал, что тебе нет дела
до обилия слов и закругленности фраз,
Но потому, что Бог — отвесная гора, и благодать,
а не благозвучье на ней поддержит нас.
— Важно идти, и тем хуже мне, если я могу дойти
лишь превратными путями!
Важно взбираться, волей или неволей, нужно взойти,
а если требуется, так цепляясь зубами!
Посмотри, как я лезу из кожи,
как жую еврейский, греческий, дикую латынь —
и все это выходит из пор моих, как пот!
Божий язык — навеки для Церкви: вот Ангел его из
плоти моей извлечет!
Некое песнопенье, каких не слыхивало создание земное!
Шествие Божьего воинства, триумфальный марш —
и пространство в этом строе.

Ангелы попеременно с людьми, земля содрогнулась,
Израиль бьет из разломов планеты,
хлещет по всем изгибам.

Нечто сокрушительное, нечто такое,
от чего у вас волосы встанут дыбом!

Нечто сладостное и горькое вместе,
от чего ваше сердце, как воск от огня, растает.

Земля, уравниай пути свои:
Господне воинство выступает.

Важно выйти из лоно Авраамова, выйти Исае,
Давиду, выйти Екклесиасту и храму Иерусалима!

Важно вырваться, вот так! вырваться, ибо слово
в утробе моей — и горе Квинтилиану!

Выйти этой церкви, которая алчет слова в сердце моем,
этому Западу, который — чтобы заговорить — не
обойдется без святого Иеронима!

По телу поверженного язычества
моя упряжка тройная катит напрямиком!

Я стою во весь рост на колеснице Илии,
который гнев переводит в гром!

Дух, ворковавший как голубица,
вот он ревет, как ураган,

И око белой звезды вдруг расцветает в сердце твоём,
чудовищный океан!

Надписание на Кресте — на трех языках:

среди трех — наречие Рима.

И я, чтоб точно перевести, поближе к плачу младенца,
в Вифлеем — вот куда поместил мастерскую

святого Иеронима.

Эти свитки пергамента, один на другом,

их узнают в Риме, слушай, лев, слушай!

Церковь собирается, чтобы мне внять.

Слушай, лев, эта Церковь на всей новорожденной
земле слышит меня и начинает мощно лепетать.

Иероним, который стал пророком, когда Бог велел,
мы любим его за то, что он был человек

словесного искусства.

Вы слышали на утешенье себе, вы все, кого оскорбила
критика без чести, ума и чувства?

Когда среди пустыни своей он узнал,

что его задел Руфин,

Он издал такой вопль, что его слышали вплоть

до средиземноморских глубин!

1940

SOLVITUR ACRIS NIEMS*

Снова веет зефир и горькую зиму размыкает.
Вот и конец кусачим стужам, щипучим борейам
и кутанью до ушей.
Кто-то нежно, нежно пришел на подмогу,
все расправит, все приласкает.
Жало духа пронзило стихию дней.
Кончился месяц февраль, март-апрель у нас впереди.
Кончилась злая зима, и на ветках,
где вчера был иней, что-то розовое — погляди!
Ряды тополей вдоль Роны будто ряд веретен.
Будто девушки, на ушко друг другу передающие сон,
Будто факелы, перенимающие огонь, и ряд их
без конца; будто народ, говорящий друг другу,
что Царство пришло!
Вереница ангелов золотых, где душа души касается
и крыла крыло.
Еще немного, и мы увидим, как умершие
готовятся к одеванью.
Эта зелень в мертвой листве — как вера,
она твердит про себя обетованье.
Фиалки скромно напоминают, что нынче пост,
и маргаритки удивлены, как девчушки из
бедного люда.
А первоцветы — словно свежее масло, и нездешнее
золото мать-и-мачехи рассыпано повсюду,

* Гораций, Оды, кн. I, IV.

Но вдруг — такого не бывает! — взрыв нарциссов! —
такого не приснится.
Это конец зиме и тысячи птиц вперебой
не могут наговориться.
Это приоткрыли лавку, куда всякой всячины навезли
и вот-вот распакуют. Что же там, внутри, творится?
Кончили? кажется, нет, — хлоп! — и любопытство
в плену.
Ризничий с алтаря еще не снял пелену.
И когда я, ежась, к утрени спешу, предо мной одна
Идет по лугам, посоленным инеем, на цыпочках луна.

1941

РЕКА

Выразить реку с ее водой — это нечто: это не что иное,
как огромное непобедимое влечение
И не что иное — на карте или в мысли —

как все подряд:

поглощение явного и возможного по ходу теченья.
И никакой задачи кроме горизонта — да моря
где-то вдали, как счастье.

И соучастье рельефа в этом весе и страсти.

И одно насилие — кротость и одно терпенье — связь
и одно орудье — разум и одна свобода, и она не иное,
Как вечно впереди меня идущая встреча
с неизбежностью и строем.

Не шаг за шагом, но всей массой сразу, всей,
какая растет, тяжелеет, идет —
Материк за мной, захваченная мыслью земля
дрогнула и двинулась вперед.

Всеми точками своего бассейна — а это мир —
и всеми фибрами своего дыханья

Река созывает к себе все, что необходимо
для нарастанья.

Грохочущий каменистый поток или ключ
с целомудренных гор, сверкающий в черед
святых теней,

Или настой пахучих болот, от которого
овцы делаются жирней, —

И вот уже солнце так низко,
 что можно дотянуться рукой,
 И так длинна твоя тень, что, как сама дорога,
 ложится за тобой.
 Сколько хватает глаз, лежит она за тобой
 и она — твой след.
 И для того, кто глаз с тебя не сводит,
 нет головокруженья и сомненья нет.
 Лес или море, превратности разных мест,
 ливень, завеса дыма —
 Все в присутствии лица твоего делается золотым
 и различимым.
 И я всюду пойду за тобой, как за матерью
 боготворимой.

1948

МУЗЫКА

Акация струит молоко и луна чудит в садах
Пойдем, нам назначили свиданье на золотых прудах
В погоне за вчерашним сном, от которого
 уцелело одно созвучье из белых нот
На плоском челноке восьмых и слеза —
 достаточный гнет
Достаточно было замолчать и чтобы кто-то на море пел
И его сопровождали вразброс флейта и дульцимер
Нам и предстоит довершить эту длинную фразу,
 не находящую разрешенья
Нам и предстоит завершить укор, растворенный
 во вздохе изнеможенья

1944

Религия и поэзия

[...] Я буду говорить о французской поэзии и о том, почему она, на мой взгляд, должна более тесно, чем в прошлом, связать себя с религией.

«Католический» означает вселенский, а первый догмат Credo учит, что вселенная состоит из двух частей: видимого и невидимого. Невидимое мы познаем с помощью разума и веры. Видимое — с помощью разума, воображения и чувств. В основе своей и разум, и воображение, и дар ощущения не имеют ничего дурного. Только еретики или янсенисты вроде Паскаля могут считать какую-либо из способностей человеческого духа, созданного Богом, изначально плохой. Плохи лишь неупорядоченность и заблуждение. И не следует отсекаать видимое от невидимого. Они вместе составляют Божий мир и явным или таинственным образом между собой связаны; апостол недаром говорит, что через видимое нас приводят к познанию невидимого*. Наука занимается только видимым. Ее дело — идти от следствия к причине, от одного материального предмета к другому, от факта к измерению. Она выясняет, чем являются вещи, а не что они означают. Из человеческих способностей ей служит только разум — разум, питаемый памятью и возбуждаемый воображе-

Лекция, прочитанная по-английски перед членами католических объединений Балтимора (США) 14 ноября 1927 г. (печатается с небольшими сокращениями).

* Рим., 1, 20.

нием. Наука властна удостоверять, но не творить. Она стремится лишь классифицировать, систематизировать и использовать то, что нас окружает, и для этого ей не нужно пускаться в ход все способности человеческого духа, все способности тела и души, рассудка и сердца. Рассматривать предмет и делать предмет — совсем не одно и то же. А искусство и поэзия занимаются, как указывает последнее слово*, именно *деланием*. Из того, что обычно без следа проходит сквозь наше восприятие, художник делает нечто такое, в чем есть пища для ума и услада для чувств, из материального объекта он создает нечто, обладающее духовным бытием. Со всей полнотой раскрывая для нашего ума и чувств значение слова, поэзия становится силой, которая, как вы говорите по-английски, полностью *выявляет*** вещи, делает их реальными. Чтобы распознавать предмет, достаточно знать, что он собой представляет, но чтобы сделать предмет, нужно понять, как он сделан. А чтобы понять, как он сделан, нужно понять, ради чего он сделан, каковы его отношения с другими предметами и какой была его идея в источнике, который создал все и вся. Невозможно понять предмет и найти ему правильное употребление, если не понимать, что он призван означать и как призван действовать, не понимать, какое место он занимает в общем строе видимого и невидимого, не понимать его вселенской, его католической идеи.

* От греч. ποιέω — делать, творить.

** Англ. realize.

Конечно, и без общих представлений о земном и небесном можно писать очень красивые стихи, добиваться изящной словесной чеканки, низать гирлянды из причудливых и забавных безделушек. Но, по-моему, в этой языческой поэзии всегда ощущается недостаток свободы и широты. Даже обычной бабочке, чтобы взлететь, необходимо все небо. Нельзя рассказать о маргаритке, растущей среди травы, если не обнимаешь мыслью солнца, окруженного звездами.

В XVII и XVIII веках французская поэзия представляла собой экономное, гибкое и гармоничное средство выражения мыслей, никак не более. Поэты изъяснялись с помощью пословиц и броских сентенций, что несколько напоминало речь крестьян. В XIX веке появилась настоящая поэзия, но это была поэзия без Бога. Многие французские поэты XIX века были талантливы, даже гениальны, но у них не было веры. И если теперь их сочинения рухнули, превратясь в груды обломков, то причина столь стремительного крушения, как я постараюсь доказать, не в том, что им недоставало таланта, а именно в том, что им недоставало веры; иначе говоря — в том, что их талант и их творчество лишены основной составляющей, которую ничем нельзя заменить.

Чтобы пояснить мое утверждение, обращусь к некоторым темам или, как мы говорим, «мотивам» французской поэзии XIX века (я с равным успехом мог бы говорить и о поэзии английской).

Лучшая из этих тем, поскольку она, несомненно,

берет исток в самой природе человека, — тема *протеста*. Пока в этом мире существует несправедливость, протест останется чувством, которое будет находить в человеческих душах мощный и глубокий отклик. Это чувство совершенно естественное, даже законное. Как все мы знаем, человеку в любой ситуации есть что сказать в свою защиту. В удивительной книге, из которой Церковь выбрала девять чтений для заупокойной службы, Иов обращается к своему создателю абсолютно свободно и бесстрашно, а когда ужаснувшиеся друзья пытаются его остановить, сам Всемогуший говорит им: «Вы глупцы, пусть Человек без стеснения изложит свое дело». Повторяю, лучшая поэзия XIX века — это поэзия протеста. И тем не менее протест трудно счесть полноценной поэтической темой. Протест безысходен. Он оставляет вас точно в том же месте, откуда вы начали путь. И, как все тщетное, он утомляет и скоро надоедает. Бесплодное раздражение — вот что такое протест. Кроме того, лучшими поэтическими темами являются те, которые я называю *связующими*, — которые, как природа, ищут выражения в единстве разнообразных голосов. Протест же нельзя назвать связующей темой. Он не приводит к согласию, потому что его цель — не что иное, как конфликт. Пронзительный вопль отрицания может тронуть сердце, но никогда не рождает гармонии.

Протесту родственны *отчаяние* и *цинизм*, также обычные для поэзии минувшего века: чувства подобного рода дали жизнь множеству неплохих и даже

отличных стихотворений. Но здесь применима та же критика. Отчаяние — состояние преходящее, человеческая душа создана не для него. Цинизм иногда бывает занятен, но в сущности это дешевая сласть, которая быстро приедается. Мы ничего не можем *сделать*, ничего не можем построить из таких материалов, как протест, отчаяние, нигилизм, цинизм, и любой другой идеи, сводящейся к чистому отрицанию.

И тут я позволю себе небольшое замечание. Когда в начале прошлого века была завоевана свобода мысли, когда были разбиты оковы догмы и суеверий, естественно было ожидать мощного прилива радости. Человек, обретающий свободу после многолетнего плена, должен чувствовать прямо-таки безумную радость. Но увы! именно радости во всей поэзии XIX века нет как нет. В некоторых стихотворениях изливается грубое чувство упоения низменными утехами — но вместо радости вы находите везде лишь отчаяние, хулу на небеса, тоску по утраченной чистоте и сожаление о разбитых оковах. По-моему, самый великий французский поэт XIX века — Бодлер, ибо он был чрезвычайно разумен и прекрасно сознавал положение вещей. Да, Бодлер — самый великий поэт XIX века, потому что это поэт больной совести. В течение одного столетия французская поэзия повторила весь опыт язычества, перейдя от дикарских грез Революции и романтизма к нигилизму, материализму и полному отчаянию недавних, еще памятных нам лет.

Но, могут возразить, есть все же конструктивные темы и вне религии. Вот одна из них. Бессмертие души, как известно всякому, — выдумка, не имеющая ничего общего с наукой. После смерти душа бесследно исчезает, словно клуб дыма, — но не утешительно ли сознавать, что наша милая плоть становится частицей ветра, солнца, цветочков и пташек? Эта тема вам знакома. Она породила разлитое море прескверных стихов — ибо глупая мысль никогда не рождает хорошей поэзии. Поразмыслите пару минут, и вы поймете: если материя и продолжает существовать после нашей смерти, самих-то нас уже нет, а для нас, что ни говори, только это и важно. Далеко не все равно — в виде статуи существует Венера Милосская или в виде щебня. И далеко не все равно — в виде розы существует роза или в виде перегноя.

Возьмем еще одну из так называемых конструктивных тем — тему эволюции. Я не имею в виду эволюцию как научную теорию. Я не знаю, правильна эта теория или ошибочна, мне это безразлично, — но лично я ей не верю, так как ничто на свете не может одновременно быть и собою, и чем-то иным. Здесь я рассматриваю эволюцию только как поэтическую идею, как предмет вдохновения. [...]

Эволюция не может быть хорошей поэтической темой уже потому, что истинный поэт склонен относиться ко всему окружающему серьезно. Он не смотрит на вещи как на опытные образцы, которые вскоре будут заменены новейшими, усовершенствованными моделя-

ми. Он видит в них образы вечности, образы, несущие радость, бесконечно поучительные и исполненные значения. Он не считает, что в них что-нибудь нуждается в изменении, и самая мысль, что они могут измениться, ему ненавистна. Чтобы понять их, ему и вечности будет мало. Природа для него — рассказчик, снова и снова повторяющий одно и то же, как если бы предмет этого рассказа был необыкновенно важен. Это всегда та же роза и та же фиалка, и всегда они будут той же розой и той же фиалкой, ибо они от сотворения мира были *хороши весьма, valde bona*, — и не могут стать чем-то лучшим. Они — и роза, и фиалка — могут лишь все больше становиться собой.

Я мог бы назвать множество других столь же обветшалых и избитых поэтических тем. Довольно грустно видеть, как мало нужно времени, чтобы свежая мода увяла и стала смешной. Вспомните, что произошло с Толстым, Ницше, Ибсенем. [...] У всего на свете, в том числе у поэзии, есть единственный способ быть новым — это быть истинным, и единственный способ быть юным — это быть вечным.

И теперь я перейду к заключительному разделу моей лекции. Я покажу вам некоторые из тех колоссальных преимуществ, какие религия дарует поэзии. Не хочу сказать, что любой хороший католик может быть хорошим поэтом, ведь поэтический талант, поэтическое вдохновение, как и дар пророчества, — благодать, благодать безвозмездная, то, что богословы называют *gratia gratis data*. Но я убежден, что католи-

ческий поэт имеет огромное преимущество над своими собратьями.

Из благ и выгод, которые религия дает поэзии, я назову три.

Первое благо состоит в том, что вера в Бога делает возможной *хвалу*. Хвала, быть может, наиболее мощный двигатель поэзии, потому что она выражает глубочайшую потребность души, она — голос радости и жизни, долг всего творения, влекущий каждую тварь ко всем остальным. Великая поэзия прошлого, от велических гимнов и до Песни Солнцу святого Франциска, — это хвала. Хвала — *в высшей степени* связующая тема. Поющий никогда не одинок. Даже звезды небесные, как мы читаем в Писании, составляют хор.

Религии мы обязаны не только даром песнопения, но и даром разумной речи. Религия — христианская, католическая религия, это для меня одно и то же, — принесла в мир не только *радость*, но и *смысл*. С тех пор как мы узнали, что мир не создан Случаем или слепыми, разобщенными силами природы, мы знаем, что он имеет смысл. Мир говорит нам о своем Создателе, он дает нам возможности постигать Его творение или, по меньшей мере, обращаться к Нему с вопросами и платить Ему наши долги. Мир ведет нас к Нему многими чудесными путями. Он дает нам возможность спрашивать и отвечать, учиться и учить, помогать нашим братьям и принимать помощь от них. Вы то и дело встречаете скептиков и агностиков, которые, как слабоумные, теряются перед самыми

простыми нравственными или духовными вопросами. Католик же уверенно отличает белое от черного и способен в ответ на любой вопрос произнести да или нет — совершенно ясное да и столь же звучное нет. И это — неоценимое благо для поэта и для художника, ибо скепсис, сомнение, колебание есть поистине смертельная язва, убивающая подлинное искусство.

Третье преимущество, даруемое религией, — это *драматическое начало*. В мире, где ничему нельзя сказать ни да, ни нет, где не существует ни нравственного, ни духовного закона, где все позволено, где не на что надеяться и нечего терять, где не наказуется зло и не вознаграждается добро, — в таком мире драма невозможна, ибо в нем нет борьбы, а борьбы нет потому, что нет ничего, ради чего стоило бы тратить силы. Только благодаря христианскому Откровению, благодаря громадным, грандиозным идеям Неба и Преисподней, которые настолько же превышают наше разумение, насколько отстоит от наших голов звездный небосвод, поступки человека и его судьба облекаются величайшим значением. Мы способны творить как безмерное добро, так и безмерное зло. Мы должны искать наш Путь, как герои Гомера, — с помощью невидимых друзей и при сопротивлении невидимых врагов, в самых мучительных и непредсказуемых условиях; и мы можем подняться к сияющим высотам или низвергнуться в пропасть несчастья. Мы подобны действующим лицам увлекательной драмы, которая написана бесконечно мудрым и добрым сочинителем, и в этой

драме нам выпала главная роль, но мы не можем предвидеть в ней даже самого малого сюжетного поворота. Жизнь для нас неизменно свежа и интересна, поскольку каждое мгновение мы должны узнавать нечто новое и делать нечто необходимое. Последний акт, по словам Паскаля, всегда бывает кровавым, но при этом он всегда исполнен величия, ибо религия не только внесла драматическое начало в жизнь, она сделала конец жизни, Смерть, высочайшим родом драмы, каким для любого ученика нашего Божественного Учителя является *жертвоприношение*.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|---|--------|
| Осада. (Перевод М. Гринберга) | 3 |
| Баллада. (Перевод О. Седаковой) | 4 |
| Невменяемый (Верлен). (Перевод О. Седаковой) | 6 |
| Псалом XLIX. (Перевод М. Гринберга) | 9 |
| Песня в день Святого Людовика. (Перевод О. Седаковой) | 10 |
| Святой Николай. (Перевод О. Седаковой) | 13 |
| Святая Цецилия. (Перевод О. Седаковой) | 15 |
| Баллада. (Перевод О. Седаковой) | 17 |
| Святой Иосиф. (Перевод М. Гринберга) | 19 |
| Предисловие. (Перевод М. Гринберга) | 21 |
| Стихи на обороте «Святой Женевьевы» (Внут- ренняя стена в Токио). (Перевод М. Гринберга) | 23 |
| Ответ мудрого Цинь Юаня. (Перевод О. Седа- ковой) | 30 |
| Предисловие к «Атласному башмачку». (Перевод О. Седаковой) | 31 |
| Другая версия. (Перевод О. Седаковой) | 32 |
| Пасхальная ночь. (Перевод М. Гринберга) | 34 |
| Внемлющая Богоматерь. (Перевод М. Гринберга) | 38 |
| Два града. (Перевод О. Седаковой) | 39 |
| Святой Иероним. (Перевод О. Седаковой) | 45 |
| Solvitur acris hiems. (Перевод О. Седаковой) | 48 |
| Река. (Перевод О. Седаковой) | 50 |
| Музыка. (Перевод О. Седаковой) | 53 |
| Вместо послесловия: Религия и поэзия. (Перевод М. Гринберга) | 54 |